

~1~

Дождь прекратился.

## ~ 2 ~

Никому в Фáхе\* и не упомнить, когда он начался. Дождь здесь, на западном побережье, — условие жизни. Он лупил отвесно и сбоку, с левой руки и с правой, а также и со всех прочих рук, какие только мог удумать Господь. Налетал шквалами, волнами, иногда пеленами. Показывал себя в обличье мороси, бусенца, дымки, ливня, частого и редкого, волглым туманом, влажным днем, капелью, мокрядью, а также разверзшимися хлябями небесными. Приходил в день погожий, солнечный и обещавший быть сухим. Во всякое время дня и ночи заявлялся он, во всякое время года, невзирая на календарь и прогноз, пока одежда ваша в Фахе не превращалась в дождь, и кожа у вас — дождь, и дом — дождь с очагом. Дождь возникал из серого простора Атлантики, бросался на сушу, словно любовник, прежде отринутый и исполненный решимости более таковым не быть. Налетал вместе с чайками и запахами соли и водорослей. Налетал с холодным ветром и занавешенным светом. Налетал, каре подобный, или, в безобидном изводе, подобный благословенью, о даре коего Господь позабыл. Дождь приходил за платочком синего неба, вер-

\* Скорее всего, от ирл. *fatha* — лужайка, поле. — Здесь и далее примеч. перев.

хом на вестах, иногда — чего б и нет? — на остах, в тучах, что ломали себе спины на горах в Керри и падали на Клэр, творя грязь из земли, ослепляя воздух. Под личиной града и ледяной крупы приходил он, но как снег — никогда. Являлся он иногда тихонько, иногда нежно, и копыя его превращались в поцелуи, таким дождем, какой делает вид, что и не дождь он вовсе, какой нисходит, чтоб стать поближе к полям, чью зелень любит он и пестует — пока не утопит.

Все это в подтверждение одной-единственной истины: в Фахе шел дождь.

Но теперь он прекратился.

Нельзя сказать, что в Фахе заметили. Во-первых, потому, что произошло это в начале четвертого в Страстную среду, и весь приход размещался, как бочковая сельдь, в Мужском, Женском и Длинном приделах тонущей церкви, все еще именовавшейся в ту пору в честь святой Цецелии. Во-вторых, когда прихожане выбрались наружу, умы их возвышены были латынью и страданиями Христа Спасителя, а все прочие мысли сделались потому незначительными. И в-третьих, так давно длился брак их с дождем, что они друг друга уж более не замечали.

Мне самому семьдесят восемь, и рассказываю я тут о том, что было шесть десятков лет тому назад. Понимаю, что Фаха в ту пору для обретения уроков жизни место неожиданное, но, по моему опыту, “ожидаемое” — это не из словаря Господня.

Так вот, тот мир, где двери на улицу днем никогда не закрывались, задние двери никогда не запирались, но снимались со щеколды и в них заходили по вечерам, — где ступал ты, с Божьей помощью, на выложенный каменными плитами пол в облако торфяного и табачного дыма, — тот мир исчез. И хотя кое-кто из тамошних людей — например, Майкл Доннелли,

Делия Консидин, Мэри Эган и Марти Броган — отсрочили выезд на погост и пребывают в одиноких старых домах в глуши, в обители ревматизма, сырости и преодоления долгих вечеров, двери там прикрыты опаской и страхом ностальгии, природа которой едка. А раз уж сам я теперь тоже древен, отдаю себе отчет, что милостью творенья быстрее всего испаряются из памяти тяготы и дождь, понимаю, что между тогда и теперь, как между таинством и смыслом, есть, возможно, громадная брешь, и от мира, где живете вы, — вот от этого — тот мир, где прекратился в Фахе дождь в Страстную среду, может быть слишком далек, чересчур отодвинут во времени и нравах, и вам туда не проникнуть.

Потерпите меня сколько-то: у дедов мало привилегий, а у мысли о собственной никчемности большие аппетиты.

И сотня книг не в силах запечатлеть одну-единственную деревню. Это не напраслина — это свидетельство. Фаха — место не менее и не более приметное, чем любое другое. Если отыскали вы его, значит, направлялись куда-то еще. В стране полным-полно мест более откровенной красоты. Вот и славно. Фахе дела нет. Она давно смирилась с тем, что по части самобытности и географии судьба ее в том, чтоб миновали ее проездом, а затем тихонько и полностью забывали.

На дождь, стало быть, одновременно и невероятный, и доисторический, в долине, где поля слюбились с рекой, не обращали фахане почти никакого внимания. То, что дождь когда-то начался, уже стало легендой — как станет легендой теперь и его прекращение.

Изведанный мир в ту пору не был столь четко очерченным, равно как и знание не приравнивалось

к фактам. В своем роде скреплял человечество рассказ. Никак точнее объяснить я это не смогу. Повсюду повествовали. Поскольку источников, где можно было что-либо выяснить, имелось меньше, слушали больше. Некоторые все еще рассуждали о дожде, стоя у калиток под моросью, глядели в небеса, предрекали грядущее — неточно и очень лично, словно все еще владели языком птиц, ягод или воды, — и обыкновенно люди потакали им, слушали, как сказ, кивали, приговаривали: “Да неужто?” — и уходили, не поверив ни слову, а только чтоб передать рассказанное, подобно живой валюте, кому-то еще.

Церковь в то время была не тем, что сейчас — или где сейчас. Стоило ризничему Тому Джойсу перейти улицу в костюме и при жилете, взобраться по двадцати семи ступеням на колокольню и ударить в тогда еще настоящий колокол — колокол, благословленный Епископом и слышимый в семи поселках прихода, — люди разом выходили из домов, и грешники, и святые. Все дороги в деревне заполняли велосипеды, лошади, повозки, трактора и пешеходы. Дороги в глубинке гудроном еще не заливали, а некоторые даже щебенкой не отсыпали. Та, что шла от дома моих прародителей, была грунтовая, утоптанная плотно и мягко, плотно и снова мягко, и проложили ту дорогу ноги, колеса и копыта, а посерединке она выгибалась, как хребет, вдоль которого струилась жизнь поселка, бежала мимо открытых дверей, подбирая и роняя в том беге обрывки новостей, какими жило это место.

Вот так за час до Мессы возникало всевозможное столпотворение. Стоишь на пороге, смотришь на запад и видишь сплошь головы — в платках, кепках или шапках, — и плывут они над изгородями, словно войско. В полях скотина, отупелая от дождя, вскидывала